

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Гелескул. Собеседник жизни</i>	5
Из предисловия автора к французскому изданию «Восстания масс». <i>Перевод А. Гелескула.</i>	21
ВОССТАНИЕ МАСС	43
Часть первая	
I. Феномен стадности	45
II. Исторический подъем	51
III. Высота времени.	57
IV. Рост жизни	64
V. Статистическая справка.	70
VI. Введение в анатомию массового человека	74
VII. Жизнь высокая и неизменная, или Рвение и рутина	79
VIII. Почему массы вторгаются всюду, во все и всегда не иначе как насилием	84
IX. Одичание и техника	91
X. Одичание и история	98
XI. Век самодовольных недорослей	105
XII. Варварство «специализма».	113
XIII. Государство как высшая угроза	118
Часть вторая	
XIV. Кто правит миром.	126
XV. Переходя к сути дела	174
ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА	177
Непопулярность нового искусства.	179
Искусство художественное	182
Несколько капель феноменологии.	185

Дегуманизация искусства начинается	188
Приглашение к пониманию	191
Дегуманизация искусства продолжается	193
Табу и метафора.	197
Ультра- и инфрареализм	198
Поворот наизнанку	199
Иконоборчество.	201
Негативное влияние прошлого	203
Ирония судьбы.	205
Незначительность искусства	208
Заключение.	211
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОН КИХОТЕ.	213
Предварительное размышление	231
1. Лес	231
2. Глубина и поверхностность	232
3. Ручьи и иволги	234
4. Запредельные миры	236
5. Реставрация и эрудиция.	237
6. Средиземноморская культура	240
7. Что сказал Гёте один капитан	242
8. Пантера, или О сенсуализме	244
9. Предметы и их смысл	248
10. Концепт.	251
11. Культура. — Уверенность.	252
12. Свет как императив.	254
13. Интеграция	257
14. Притча	260
15. Критика как патриотизм	260
Размышление первое (краткий трактат о романе)	264
1. Литературные жанры	264
2. «Назидательные новеллы»	266
3. Эпос	268
4. Поэзия прошлого	269
5. Рапсод	272
6. Елена и мадам Бовари	273
7. Миф, закваска истории	275
8. Рыцарские романы	276

9. Кукольный театр мастера Педро	279
10. Поэзия и реальность	280
11. Реальность, закваска мифа	282
12. Ветряные мельницы	284
13. Поэзия реализма	285
14. Мим	287
15. Герой	288
16. Вмешательство лиризма	289
17. Трагедия	290
18. Комедия	292
19. Трагикомедия	295
20. Флобер, Сервантес, Дарвин	296

БЕСХРЕБЕТНАЯ ИСПАНИЯ 301

Пролог ко второму изданию 303

Предисловие к четвертому изданию 309

Часть первая

ПАРТИКУЛЯРИЗМ И ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 313

1. Объединение и распад 313

2. Сила национализации 317

3. Откуда берется сепаратизм? 322

4. Tanto monta 324

5. Партикуляризм 328

6. Герметичные отсеки 335

7. Случай военных 339

8. Прямое действие 343

9. Провозглашение 346

Часть вторая

ОТСУТСТВИЕ ЛУЧШИХ 351

1. Нет личностей или нет масс? 351

2. Империя масс 355

3. Эпоха Китра и эпоха Кали 358

4. Магия «должного» 360

5. Пример и покорность 363

6. Отсутствие «лучших» 366

7. Императив отбора 376

СОБЕСЕДНИК ЖИЗНИ

Легко думать, но трудно быть.

Фридрих Ницше

Детские мечты обычно несуразны, но редко беспочвенны. Они много говорят о человеке, и не столько о его стремлениях, сколько о его жизненном заряде.

Иосиф Бродский, по воспоминаниям, мечтал стать футболистом и летчиком. А стал поэтом — занятие сродни воздухоплаванию, и тоже, как он убедился, небезопасное. Будущий философ Хосе Ортега-и-Гассет мечтал стать журналистом и тореадором. В общем, ничего удивительного: испанские подростки играли тогда в бой быков, как теперь — в футбол, и, кроме того, Ортега, по его словам, «родился в типографии». Действительно, под его колыбелью, этажом ниже, работала ротационная машина — отец, тоже Хосе Ортега, издавал основанную тестем газету «Беспристрастный».

Удивительней, что Ортега действительно стал журналистом, и даже единственным в своем роде. Он не только основал ряд журналов, но и в течение двадцати лет издавал альманах «Зритель» («Эль Эспектадор»), где был всем сразу — директором, редактором и единственным автором. Стиль Ортеги заставляет вспомнить и другую его детскую мечту — отточенную графику испанской корриды, поединка по законам танца.

Его излюбленным, персональным жанром стала своеобразная публицистика — философские импровизации по самым разным, порой случайным поводам. Философия шла в гущу жизни, на площадь. «Философия была, есть и будет наукой действия», — говорил Ортега и охотно жертвовал академиче-

ской обстоятельностью ради внятности. «Ясность — это вежливость философов», — считал он. И правда, язык его всегда прост и ярок, а живая, атакующая манера заставляет быть начеку, защищаться, искать противоречия, находить возражения — короче, заставляет думать. Он обращался к здравому смыслу, помня, что мысль, которой невозможно возразить, не стоит того, чтобы ее высказывать. Будить мысль, непременно самостоятельную, было его постоянной заботой, и совет его гениально прост, хотя и трудноисполним: «Главное, чтобы человек всякий раз думал то, что он действительно думает». Четверть века Ортега возглавлял в Мадридском университете кафедру метафизики. Его друг, поэт Хуан Рамон Хименес, любивший философа больше, чем его философию, с досадой восклицал: «Если б он так писал, как говорит!» Когда весной 1929 года в разгар студенческих волнений власти закрыли университет, Ортега прочел свой курс лекций в городском театре. Одиннадцать философских вечеров прошли с аншлагом. Устная речь умирает на лету, и то, каким собеседником и лектором был Ортега, приходится принимать на веру. Но догадываться можно. Во всех его работах есть оттенок импровизации, непринужденной и полной неожиданностей беседы. Великие умы имеют обыкновение изъясняться тяжело и трудно, и к этому все привыкли. Легкий дар Ортеги вводил в заблуждение и, надо заметить, долго мешал распознать в нем мыслителя. Нильс Бор советовал ученым не выражаться понятней, чем они думают; Ортега поступал как раз наоборот и потом с горечью вспоминал: «Более тридцати лет наши испанские псевдоинтеллектуалы победно заявляли, что мои работы — не философия, поскольку я “сочинял метафоры, и только”... Эти люди не смыслят ни в чем и уж совершенно не смыслят в красоте. Они не подозревают, что по ней можно оценивать жизнь или труд, и даже не догадываются, насколько существенно и важно, что человек бывает красив». Кстати, Эйнштейн, которым Ортега неизменно восхищался, не раз подчеркивал эстетическую сторону науки и «внешнему оправданию» теории противопоставлял ее «внутреннее совершенство». Красота самоценна, в том числе и «красота слога». Многие страницы Ортеги, не будучи беллетристикой, признаны в Испании образцами прозы.

Литературный дар философа не оспаривался никем, сложней обстоит дело с его философией. Одни — немало их и у нас в России — считают Ортегу крупнейшим мыслителем нашего века, по крайней мере самым насущным и наименее односторонним. Другие отказывают ему в философской солидности — и по-своему правы. Широта и темперамент Ортеги помешали ему свести свои взгляды в законченную систему и оставить капитальный труд добротного классического образца. Втайне он, видимо, жалел об этом и недаром, признав «Бытие и время» Хайдеггера превосходной книгой, с ревнивой горечью заметил: «Вряд ли там найдется пара значительных идей, которые не встречались бы, иногда на тринадцать лет раньше, в моих работах». Его философские этюды рассыпаны по книгам вперемешку со статьями на злобу дня.

Что ж, этюды рождаются на вольном воздухе. Однако, читая, следует помнить, что это фрагменты единого полотна.

Оспаривать Ортегу — право философов, а судья в этом споре — время, и, не вступая в спор, хотелось бы только сказать, почему эту книгу стоит прочесть — здесь и сейчас. В ней собраны наименее «философские» работы Ортеги; многие из них — в форме путевых заметок: бродить и смотреть было для него потребностью. Однажды он признался Хуану Рамону Хименесу: «Я усидчиво размышлял в юности, и теперь мне думается только в пути».

Размышления Ортеги о судьбах народа, страны и мира так или иначе связаны с испанским кризисом первой трети нашего века. Казалось бы, проблемы давние и чужие. Но, оказывается, настолько знакомые, что при чтении возникает порой странное чувство — не о нас ли, сегодняшних, идет речь. Ортега всегда обращен к современности, и прежде всего к ее болевым точкам. И надо сказать, у него редкий дар диагноста. Он раньше других, еще на заре нашего века угадал его недуги. Век кончился — и пора признать, что поставленный испанским мыслителем диагноз, к сожалению, оправдался.

Знаменитая формула Ортеги «Я — это я и мои обстоятельства» часто цитируется, но вольно трактуется, и к тому же неточно переводится. Испанское *circunstancia* объемней и насыщенней; Ортега недаром подчеркивал префикс (от ла-

тинского *circus* — «вокруг, окрест»). Это не «обстоятельства», а все об-стоящее, об-ступающее — земля, небо, события и лю-ди. Иначе говоря, среда. Ортега неохотно пользовался этим синонимом — прежде всего потому, что «среда» в его время понималась как нечто первичное, фатально и неумолимо формирующее личность; среда была причиной, а человек — только следствием. Сам Ортега полагал иначе: «На закате первой, подлинной юности впервые сталкиваются с упорством, горечью, враждебностью человеческих обстоятельств; эта первая схватка либо раз и навсегда убивает в нас героическую решимость быть тем, что мы втайне есть, — и тогда в нас рождается обыватель, либо, наоборот, столкновение с тем, что нам противостоит, открывает нам наше “я” и мы принимаем решение быть — осуществиться».

В развернутом виде формула Ортеги звучит так: «Я выхожу в мироздание через перевалы Гвадаррамы или поля Онтиголы. Этот окрестный мир — другая половина моей личности, и только вкупе с ним я могу быть цельным и стать самим собой... Я — это я и моя среда, и, если не спасу ее, не спасусь и я».

Хосе Ортега-и-Гассет родился в 1883 году в столице Испанской империи — и едва вышел из детского возраста, как империи не стало. Она рушилась не в считанные дни, как наша, а в течение века, но финал — проигранная в 1898 году кубинская война и потеря последних заокеанских земель, добытых кровью, но политых пóтом и удобренных культурой, — оказался шоком. Испания ощутила себя европейским захолустьем. «Кончилась вера в правосудие, в государственных деятелей, в партии, в администрацию, армию и, наконец, во все», — констатировал не кто-нибудь, а глава консерваторов Сильвела. Казалось бы — и слава богу, но беда в том, что пошатнулась и вера в себя, в жизнеспособность нации. Вместо обновления пришли растерянность и разброд. По словам Валье-Инклана, «мой бедный народ забылся, безутешный, под звуки гитары, не в силах оправиться от двух своих самых великих потерь — утраты колоний и бесплатного монастырского супа».

Полвека спустя, уже в эмиграции, Ортега, выступая перед аргентинцами, вернулся к этой давней и болезненной теме:

«Все, что мы вместе узнали и вместе прожили, все наше, пережитое вами и наоборот, — это богатство, которого нас не может лишить никто, и даже мы сами. Человек — „то, что творится“, и прошлое — все, что было со мной, с нами, со всеми, — не проходит: наоборот, бывшее, именно потому, что оно было, остается в нас, как остается шрам от раны или летнее солнце в осенней сладости винограда». И потому, заключил он, новым государствам и бывшей метрополии, хотят они того или нет, суждено идти сходящимися дорогами, чтобы жить общей жизнью. «Воля человека или народа поверхностна: глубины существования подчиняются не воле, а неумолимой судьбе».

Быть может, ранняя, еще в юности возникшая неприязнь к социальной апатии предопределила и философский динамизм Ортеги, и его веру в «избранное меньшинство». Таким меньшинством стало «поколение 98 года» — цвет испанской интеллигенции. Их было немного, и действовали они врозь, но страну разбудили. Самым младшим в «поколении 98 года» был Ортега-и-Гассет. Окончив университет, он продолжил учебу в Берлине и философской Мекке тех лет — Марбурге, а в 1910 году возглавил кафедру Мадридского университета — и вскоре уже к нему, в новый центр европейской мысли, потянулись иностранные студенты. Ортега создал «Западный журнал», затем издательство с тем же названием и стал выпускать многотомную серию «Библиотека идей XX века». А еще раньше он основал Испанскую лигу политического образования и призвал интеллигенцию идти в народ, возрождая «любовь и достоинство». И не случайно студенческие волнения, ставшие началом конца военной диктатуры, а затем и монархии, вспыхнули в университете, где властителем дум был Ортега.

Конец его просветительским и политическим усилиям положила гражданская война. Ортега эмигрировал и вернулся на родину уже стариком. Так и не приняв испанское гражданство, он остался внутренним эмигрантом. Умер он в 1955 году, и цензурная директива «по случаю смерти Х. Ортега-и-Гассета» гласила: «Публиковать не более трех статей — биографию и две заметки, где следует подчеркнуть его заблуждения в религиозной сфере». Но, прощаясь с Ортегой, подчеркивали другое: «Его философия стала частью нашей судьбы».

Европейская мысль как-то привыкла не ждать от испанской (да и русской) философских откровений. Социальные прогнозы Ортеги дошли до европейского слуха много раньше его идей, и лишь теперь оценены проницательность и оригинальность испанского мыслителя. Быть может, именно оригинальность и мешала этому, по крайней мере — одна ее черта, непривычная в новейшей философии: Ортега непритворно любил свое, то есть наше, время и считал, что оно «выше любого другого и ниже себя самого». В последнем он, казалось бы, мог убедиться, и не раз — его опасения сбывались, а надежды рушились на протяжении всей жизни. Юность его совпала с национальным кризисом; он ждал, что кризис приведет к выздоровлению, и не дождался. Он мечтал о единой Европе и стал свидетелем двух мировых войн. Он пережил военную диктатуру, боролся с ней и способствовал ее падению, но новая диктатура, военно-фашистская, пережила его. И все же Ортеге нравилось его время. Он не сожалел о вчерашнем: «Безрадостно знать, что прогресс — это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной; такая дорога больше смахивает на тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю». И говорил о сегодняшнем дне: «Мы чувствуем, что вырвались из тесного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистощимый, где все возможно, все — от наилучшего до наихудшего... Одному Богу известно, что будет завтра, и это втайне радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все неожиданно, и есть настоящая жизнь». Звучит романтически, но следует помнить, что Ортега всегда обращался к творческому началу в человеке, а творческое начало деятельно. И в ком оно есть, тот не вздыхает о недоступном каррарском мраморе, а берет обрубок дерева и создает из него образ. Быть может, на века.

Ортега был не столько учителем жизни, сколько ее поборником, и его полемика с Хайдеггером, которого он признавал родственным мыслителем, вызвана отнюдь не ревностью первопроходца. Мысль их родственна в истоках, но течет по разные стороны водораздела. Оба исходили из драматического противоречия — человек не существует вне мира, но мир человеку враждебен; оба противопоставляли «подлинное бытие» (у Ор-

теги — «подлинная жизнь») отчужденному от себя существованию, пассивному растворению в безликой массе. Но у Хайдеггера подлинное бытие осознается как небытие, бытие-к-смерти, и единственное, конечное достояние человека — *Freiheit zum Tode*, свобода-к-смерти. За этим угадывается традиция, сумрачная готика старонемецкого мистицизма, тени Майстера Экхарта и его учеников, устремленных в Ничто. У Ортеги другая тональность, иные тени осеняют его философию жизни, и в его «подлинном бытии» угадывается «героический энтузиазм» Джордано Бруно. «Жизнь, — говорит Ортега, — единство смерти и вечного возрождения, воли к существованию *malgré tout*¹, опасности и дерзкого вызова, отчаянья и праздника... Я не верю в „трагический смысл жизни“ как конечную форму человеческого существования. Жизнь — не трагедия и не может ею быть. В жизни же трагедии возможны и случаются».

Назвав свою философию жизни радиовитализмом, Ортега ввел понятие «жизненного разума», призванного не столько искать, сколько рождать истину: «Человеку не дано никакого заранее предопределенного мира. Ему даны только радости и горести жизни. Движимый ими, человек должен создать мир». Человек мыслит потому, что существует, а не наоборот, и созданная им картина мира позволяет противостоять хаосу обстоятельств. В самом упрощенном понимании «жизненный разум» призван помочь, говоря словами старинной молитвы, изменить то, с чем человек не в силах мириться, и смириться с тем, чего он не в силах изменить, но главное — помочь отличить первое от второго. Как учит Ортега, человек должен распознать свою судьбу и следовать ей, иначе вся жизнь его будет лишь неудачным самоубийством.

«Жизнь всегда единственна, это жизнь каждого, — говорит Ортега. — Жизни „вообще“ не бывает. Жизнь — неизбежная необходимость осуществить именно тот проект бытия, который и есть каждый из нас. Этот проект, или „я“, — не идея, не план, задуманный и произвольно выбранный для себя. Он дан до всех идей, созданных нашим разумом, и до всех решений, принятых нашей волей. Более того, как правило, мы имеем о нем лишь

¹ Несмотря ни на что (*фр.*).

самое смутное представление. И все-таки он — наше подлинное бытие, наша судьба. В нашей воле осуществить или не осуществить жизненный проект, иначе говоря — самих себя, но не в наших силах его переиначить, обойти или заменить».

Резонно заподозрить в «жизненном проекте» укрытое в светские одежды предопределение, а в Ортеге — фаталиста. Возможно, его самого смущал этот кальвинистский налет, искажавший динамизм его мысли. Недаром он не раз и не два, почти в одних и тех же словах, внушал: «Жизнь, данную нам, мы не получаем готовой, а должны сделать ее, каждый — свою... Мы должны внутренне оправдать свой выбор, то есть понять, в каком из возможных действий мы полнее осуществимся, в каком из них больше смысла, какое из них наиболее наше. Не решив этого, мы обманем и предадим себя, уьем частицу нашего жизненного срока, тем более что времени у нас в обрез». Динамизм в том, что жизненный проект возникает в процессе осуществления; человек обречен постоянно решать — делать выбор и нести за него ответственность. Ортега относит это не только к личности, но и к народу, эпохе, цивилизации, поскольку человек — наследник огромного прошлого и обладает исторической памятью — «историческим разумом».

«Наша жизнь, — добавляет Ортега, — стрела, пущенная в пространство существования, но стрела эта сама должна выбирать мишень. Выбор не бывает абсолютно свободным, наша воля ограничена обстоятельствами. Но упорная слепота идеологов берет в расчет лишь эту ограниченность жизненной свободы, не замечая, что мы никогда не бываем полностью предопределены... Поэтому ничто так достоверно не говорит о человеке, как высота мишени, на которую нацелена *его* жизнь. У большинства она ни на что не нацелена, что тоже своего рода целенаправленность».

Но это лишь одна сторона жизни, неотторжимая от другой: «Не представляю себе ничего более адекватного жизни, чем кораблекрушение. Речь не о том, что оно может произойти в жизни. Сама жизнь, от начала до конца, — это погружение во враждебную стихию, которая не поддерживает нас, а поглощает. Поэтому жизнь обязывает непрерывно и всеми силами держаться на поверхности или, что то же самое, делать гибель-

ную среду пригодной для себя. И первое, самое главное, что должна сделать жизнь, — это осознать себя, уяснить, что это за стихия, в которой мы порой плывем, а порой тонем, и что такое наше бедное „я“, терпящее в ней кораблекрушение. Все остальные наши действия возникают уже внутри этого осознания и внушены им».

К этой метафоре жизни Ортега возвращается не раз в разные годы и по разным поводам: «Жизнь сама по себе — всегда кораблекрушение. Но терпеть кораблекрушение — это не просто тонуть. Чувствуя, как затягивает бездна, силится выплыть. Эти отчаянные взмахи рук, которыми отвечают беде, и есть культура. Только в таком смысле культура исполняет свое назначение — и человек спасается... Надо, чтобы все привычные средства спасения исчерпали себя и человек понял: ухватиться не за что. Лишь тогда руки снова придут в движение. Взгляд тонущего — это правда жизни, и уже потому спасителен. Я верю только идущим ко дну».

Еще в юности Ортега сказал, или, скорее, вздохнул: «Думать легче, чем любить». В этой простой и печальной фразе уже угадываются будущие ростки — тревожные и сумрачные ноты его философии: «Разум — отнюдь не дар, которым владеют, но взятое на себя обязательство, которое нелегко выполнить», «Жизнь — сама себя пожирающая деятельность». Или еще неутешительней: «Жизнь — наша реакция на изначальную угрозу, саму материю существования». Вероятно, следующие строки, написанные уже в эмиграции, накануне мировой войны, проясняют природу как изначальной угрозы, так и ответной тревоги: «Если тигр не может перестать быть тигром, не может „расти-гриться“, то человек постоянно рискует расчеловечиться. И для этого не обязательно, чтобы с ним, как с любым животным, что-то стряслось, — человек просто-напросто перестает быть человеком. Это правда, и не отвлеченная, а применимая к каждому из нас. Над каждым из нас вечно висит угроза, каждому грозит не быть самим собой, единственным и неотчуждаемым. Большинство из нас постоянно предаёт это „я“, жаждущее быть. А если говорить начистоту, наше „я“ — персонаж, который никогда не воплощается полностью, утопический стимул, смутный миф, тайно хранимый в каждой душе».

Видя, как растет число тех, кто готов отказаться не только от себя, но и от разума и намерен — после трех веков рационализма — жить не задумываясь, Ортега задался непростым для него, ниспровергателя рационализма, вопросом. Предвещают ли эти люди, утверждающие «свое право быть неправыми», какое-то, пока неясное, обновление жизни или ее упадок, меняется человек или всего-навсего скудеет? Короче говоря, чего ждать? Вот вопрос, по словам Ортеги, «в котором заключено конкретное будущее каждого из нас».

Ответом стала его знаменитая книга «Восстание масс». Страстная, неровная, местами спорная, местами излишне запальчивая, она задела самый болезненный нерв нашего времени и обрела долгую жизнь и завидный резонанс. Сегодня и радикалы, и консерваторы сочувственно обращаются к ней или непроизвольно повторяют ее выводы — словом, идеи книги воспроизводятся уже независимо от нее. Но при этом книга, переведенная на все европейские языки, существует как бы изолированно от философского учения Ортеги. Она долго воспринималась как очередная критика буржуазного общества, причем левые считали ее критикой справа (с позиций либерализма, отягченного крайним индивидуализмом), а правые — критикой слева (с позиций того же либерализма, но отягченного атеизмом). Что же до золотой середины, то главный персонаж книги — европейский обыватель — тогда, как и всегда, предпочитал литературу иного рода. Так было и в Испании, с той, может быть, разницей, что Испания тяготилась своей бедностью, а Ортега винил западную цивилизацию в избыточности благ — и, знакомые с этими благами понаслышке, соотечественники читали с тем же, вероятно, чувством, что и мы («нам бы их заботы»). Кроме того, до своего выхода в свет (1930 г.) книга публиковалась в 1926 году как серия статей в мадридской газете, а создавалась как единое целое в годы борьбы с военной диктатурой. Накаленная атмосфера тех лет мало способствовала терпеливому академическому анализу. Немудрено, что политико-социологическое начало воспринималось и воспринимается в книге острее, чем философское. А именно к нему хотелось бы привлечь внимание, хотя бы с помощью приведенных выше цитат из работ Ортеги самого разного времени.

Само название книги — «Восстание масс», привычное для нашего века словосочетание — иронично и способно сбить с толку, особенно тех, кто, по словам Ортеги, «читает в книгах одни названия». Ни восстаний, ни масс в обычном понимании там нет. Масса у Ортеги — понятие внеклассовое: массовый человек, детище нашего стандартизированного мира, человек без корней, не обладающий ни культурой, ни исторической памятью, трутень с неразвитой душой и хорошо развитым желудком, одинаков на всех ступенях социальной лестницы — и на самом верху проявляется лишь отчетливей и разрушительней. «В Испании господство масс, — отмечал Ортега, — но господство масс с наибольшей властью, масс высшего и среднего класса».

Массовый человек — это «всякий и каждый, кто ощущает себя таким же, „как и все“, и не только не удручен, но даже доволен своей неотличимостью. Не обманываясь насчет собственной заурядности, он утверждает свое право на нее и навязывает ее всем и всюду... Специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она безбоязненно провозглашает и утверждает свое право на пошлость или, другими словами, утверждает пошлость как право». А беда нашей цивилизации, по убеждению Ортеги, заключается в том, что она плодит именно такой, губительный для нее человеческий тип.

Ортега пришел к выводу, что достигнутый прошлым веком технический и социальный прогресс повысил уровень жизни и понизил уровень самого человека — словом, улучшил постройку, но ухудшил материал, а в итоге сделал человека большим варваром, чем он был сто лет назад: «В массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе; естественно, что она и не помышляет о нем». Авансцену истории захватил новый герой, неспособный выдумать порох, но вполне способный им воспользоваться. Уже не обремененный нуждой, но еще не обремененный культурой, он торопится завладеть плодами цивилизации и бездумно подрывает ее корни. Потребительский эгоизм и массовая косность избавляют от личной ответственности за мир и свои действия в нем — и автоматически ведут к вождизму, стадности и добровольному превращению в безли-

кую деталь безликой государственной машины. Так, по словам Ортеги, «скелет съедает тело».

В сущности, «Восстание масс» посвящено болезни века, унесшей столько жизней. Ортега исследовал не облик, а природу тоталитаризма, общую для всех его ипостасей, и нащупал корни еще до того, как расцвела их буйная поросль. Надо помнить время написания книги. Возможно, сегодня мысли Ортеги о большевизме и фашизме не слишком впечатляют. О большевизме он знал не так уж много, считал его чисто русским явлением, к России же относился с традиционной для испанцев симпатией. Что до фашизма, то политической реальностью была тогда лишь его итальянская разновидность, сравнительно мягкая. Зрелости твердого шанкра он достиг позже, в Германии. И тем не менее, как свидетельствуют немецкие отклики на смерть Ортеги, именно в гитлеровской Германии «Восстание масс» было одной из самых читаемых — разумеется, втайне — и насыщенных книг.

В свое время один из отцов испанского фашизма Ледесма Рамос сетовал по поводу Ортеги: «Неприятие тотальной государственности, сплава народа и государства, не позволяет ему оценить ни железную мощь советской власти, ни мускулатуру фашистской». Что верно, то верно. Ортега, действительно, предпочитал либеральную демократию: «Политическая власть, осуществляется ли она автократически или всенародно, не должна быть неограниченной, и любое вмешательство государства предупреждается правами, которыми наделена личность». Себя он подчеркнуто называл не демократом, а либералом. Это не было чисто политическим пристрастием, и, наверное, стоит коснуться мировоззренческих основ того, что он называл либерализмом.

Заключительная и самая короткая глава «Восстания масс» — об этике — как бы обрывает книгу на полуслове. Название главы можно перевести несколько иначе — «Перед подлинной проблемой». Проблема вынесена за рамки, и понять, насколько она подлинна, могут помочь слова русского мыслителя Георгия Федотова (мыслителя религиозного, но во многом близкого Ортеге — и не только историзмом и литературным даром): «Свобода социальная утверждается на двух истинах христиан-